

Несколько слов до...

Однажды на исходе зимы с группой друзей возвращался я из путешествия по Америке. В Париже мы пересели на советский лайнер. Как только он, набрав высоту, пробил облака, вырвался на насыщенный солнцем простор и лег на курс, я сразу почувствовал себя дома. Черт знает, так уж, должно быть, мы все устроены, что, очутившись за рубежом, как бы хорошо нас там ни принимали, какие бы диковинки нам ни показывали, мы вскоре начинаем скучать по родине, по самому советскому воздуху, по нашему особому, интересному и нелегкому бытию. И хотя позади были десятки тысяч миль Соединенных Штатов, невиданные нами до тех пор города, любопытные знакомства, беседы, споры с умными людьми иного, не нашего мира, все мы, сразу забыв об этом, жадно накинлись на душистый черный хлеб из бортового пайка и на наши газеты: мы их не видели, как нам казалось, давным-давно.

Газеты посвящены Дню Советской Армии. Со страниц смотрят люди в военной форме — солдаты, офицеры, генералы, маршалы. Читаю статьи, очерки, а внизу, под белой шкурой облаков, прошитой косыми солнечными лучами, плывет

Европа — самый тесный, возделанный и обжитой кусок земли, который люди, смотрящие сегодня со страниц, спасали и спасли от величайшей из бед, когда-либо угрожавших человечеству.

Перебирая газеты, я добрался до «Медицинского работника». И тут как-то сразу бросилось в глаза: «Гор. Калинин...» Мой родной город! Что же там произошло? Заглавие статьи: «Родина помнит». Подпись: «Подполковник медицинской службы Н. Вишневский». Начал читать — и в ушах вдруг зазвучали полузабытые голоса моей юности. Рассказывалось о женщине-враче, знакомом мне человеке. С мужем ее я дружил в молодые годы. Да и самое ее знал когда-то тоненькой курносой девушкой с большими серыми глазами. И судьба этой женщины, трудная, даже на определенном этапе трагическая, была мне известна.

Ничего нового, в сущности, я в статье не нашел. Обо всем, что в ней писалось, земляки уже рассказывали. Но одно дело узнавать пусть и самые необыкновенные вещи на родине, в неторопливой беседе за стаканом чая, и совсем другое — когда эта история врывается в самолет, несущий тебя над чужими странами. И по-новому зазвучала одиссея женщины-солдата, совершившей в войну такое, что теперь, из мирного сегодня, кажется почти невероятным.

Тогда, в самолете, я дал слово описать эту историю. Теперь она перед вами. Но должен предупредить вас, читатель, — повесть «Доктор Вера», хотя и выросла из жизненного материала, не биографический очерк, не хроника совершившегося.

Я прошу мою землячку, если ей в руки попадет эта книга, не прикладывать к ней точную мерку своей хорошей жизни и не судить меня строго за то, что я по-своему рассказываю о событиях, которые она пережила.

Вот что я почел долгом сообщить вам, читатель, до того, как вы откроете эту книгу.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

...Ты знаешь, Семен, все эти последние ночи меня мучает странный, навязчивый сон. Стоит прилечь, закрыть глаза, как я тотчас же ясно вижу какой-нибудь уголок Верхневолжска... Красное кирпичное здание моей школы, по-осеннему голые тополя школьного сада и острые ажурные шпили моста, выглядывающие из-за них... Высокая набережная над Волгой, старинные чугунные решетки и почему-то обязательно скамья, на которой мы с тобой однажды встретили поднявшееся солнце. Помнишь, когда усатый милиционер, которому ты дал закурить, сказал, подмигнув: не знаю, мол, что уж и пожелать вам, молодые люди, спокойной ночи или доброго утра. Или видится земляной вал над речкой Тьмою, где мы с тобой ночью слушали сумасшедшего соловья, неведомо как и зачем залетевшего в самый город. Но чаще и явственнее всего я вижу нашу Восьмиугольную площадь — зеленые шары подстриженных лип и памятник Ленину, возле которого мы с Домной всегда ожидали, когда наш папка появится из своего горкома, чтобы по пути домой прогуляться с нами по набережной.

Словом, вижу, Семен, нечто очень знакомое, и над этим уголком города в небе стай, почти

теснясь, плывут бескрылые машины, похожие на огромных толстых гусениц. Делают круги, снижаются. И вот уже от этих гусениц отделяются и летят, будто семена, сорванные с одуванчика ветром, серые и тоже бесформенные существа.

Ниже, ниже... Вот они уже приземлились... Нет, это не гитлеровские парашютисты. Это вообще и не люди, а что-то неведомое и по-непонятному страшное. Может быть, жители другой планеты? Я почему-то не могу их как следует рассмотреть, но чувствую — надвигается неотвратимое. Меня охватывает ужас: скорее к детям! Дети одни! Бежать, бежать к ним!.. А ноги точно бы влипли в землю, не оторвешь, не пошевелишь.

Между тем серые существа уже скользят по улицам, заползают в окна и двери. Дети! Дети же!.. И нету сил сдвинуться с места. Ужас, нет, даже не ужас, а тоска обреченности охватывает меня. Я просыпаюсь в слезах, просыпаюсь и не могу понять, где я, что со мной... Что-то стучит, и от этого знакомого двойного ритмичного стука все кругом содрогается. Потом догадываюсь — это же сердце мое стучит. До меня доходят разнотонный надсадный храп, стоны, сонное бормотание. Из тьмы вырисовывается круглое старушечье лицо с морковным румянцем на щеках. Маленькая проворная ручка, точно бы соля, крестит меня. Пухлые губки бормочут:

— Свят, свят, свят! Вера Николаевна, да проснитесь же вы, Христа ради! Опять дурным голосом вопите...

Все становится на свои места. Я вижу весь свой угол. Он отгорожен составленными рядом шкафами от палаты тяжелых, «зашкафник», как именует его

наш сын. Вижу рядом курчавую головенку Стальки, на другом конце кровати розовую физиономию Домки: мы спим втроем и располагаемся валетом... Здесь же они, со мной, мои дорогие! С ними ничего не случилось.

— Да проснитесь же, проснитесь скорее, бог с вами!

Да, да, я уже проснулась... Но липкий сон этот еще тут, в душной полутьме, пропахшей карболкой и лизолом. Чтобы окончательно от него отвязаться, я встаю, надеваю тапки, халат, напяливаю шапочку, укрываю получше ребят и иду в беспокойную полутьму палат, слыша за собой частые шаркающие шажки и вздохи тети Фени — нашей старой хирургической няни.

Почему на меня нагоняет ужас этот сон? То, что происходит наяву, не менее страшно. Сырые, холодные подвалы огромного газоубежища битком набиты человеческими страданиями. Раненых, обожженных везут, несут днем и ночью. Тебе, Семен, и не представить, что делается сейчас в Верхневолжске. Тревога за тревогой. Нас, правда, первое время не очень бомбили. Говорили даже, будто Гитлер хотел сохранить наш город, чтобы разместить в нем войска по пути к Москве. Но в последние дни он, должно быть, раздумал. Его самолеты налетают то и дело. Ну от них все-таки нас как-то защищают истребители, зенитки. А вот на днях немцы прорвались к городу со стороны аэродрома. Установили там артиллерию. Это куда опаснее. От снаряда в убежище не спрячешься.

Но хуже всего неопределенность. В сводках — враг остановлен на подступах к Верхневолжску.

Несет существенные потери в живой силе и технике... Подбито... Уничтожено... Партизаны, действующие в лесах Верхневолжска... А вот старуха, которую привезли вчера с раздробленной ногой, утверждает: «Гитлер» уже подошел к самому противотанковому рву... И эта спешная эвакуация госпиталей, а главное — что санитарные маршруты проходят теперь наш город, не останавливаясь даже на пересортировку. Мы-то, медики, знаем, что это значит...

Прошлые сутки, пока Дубинич обивал пороги, добывая машины, чтобы вывезти самых тяжелых, я не отходила от операционного стола. Чтобы не свалиться с ног, подхлестывала себя кофеином. Грохот. Все наши подвалы трясутся, свет то и дело гаснет. Больные стонут. Ужас! Но вот, отоперировав, положили на каталку последнего. Кажется, можно и прилечь. Легла, — куда там, просто повалилась на койку. И ты понимаешь, Семен, тут же подумала, где-то там, в нашем «зашкафнике», подстерегает меня проклятый сон. Испугалась и не могла уснуть...

Но то был все-таки сон, а вот сейчас это ощущение неведомой, неотвратимой беды томит меня наяву. Я стою у въезда на мост. Красиво изогнувшись, он навис над черной водой, по которой густыми круглыми лепешками медленно плывет сало. Невдалеке горит что-то большое, — кажется, городской театр. В отсветах пожара, сквозь редкий, косо летящий снег, я вижу, как мимо меня к мосту и дальше, в Заречье, глухо гудя, громахая колесами, гусеницами, топоча по деревянному настилу, движется живой поток, такой густой, что, не сходя

с места, я все время ощущаю, будто плыву ему навстречу.

Семен, родной, ты знаешь, сколько мне пришлось пережить в последние годы. Но поверь, что такое ощущение полной незащитности перед неотвратимой бедой я знала лишь в том сне.

Частая, то затихающая, то разгорающаяся перестрелка доносится со стороны фабричного района. Гитлеровские стервятники гудят над головой. То близкие, то далекие разрывы встряхивают под ногами мокрый асфальт... Зарево над всем городом. Липкий, розовый, точно бы кровью пропитанный снег и этот человеческий поток... Кажется, перерублена аорта, и кровь, пульсируя, вытекает из города, агонизирующего в освещенной багровыми огнями полутьме.

Всем своим существом я рвусь к этим людям, бегущим за реку. Но мне нельзя. Там, в городе, в огромных сырых подвалах бомбоубежища, мои раненые и мои дети. Но и туда мне нельзя. Мы договорились с Дубиничем, что вот здесь, на подъезде к мосту, я встречу машины, которые он за нами пришлет. Так мы условились. Кто же мог утром думать, что начнется этот стихийный исход из города и мост окажется запруженным? И вот я жду. Сколько жду — не знаю. Мне кажется, очень давно.

А люди идут и идут в штриховке косо летящего, багрового снега. Несут детей. Волокут мешки, чемоданы. Ведут увешанные узлами велосипеды. Толкают детские коляски, оседающие под тяжестью пожитков. На лица лучше не глядеть. И все-таки, Семен, они счастливы по сравнению со мной. Через несколько минут река отделит их от того

неведомого и страшного, что где-то уже тут, близко. А я? А раненые? А Сталька и Домка? Да где же, где этот окаянный Дубинич с машинами?..

Ну да, теперь ясно: это горит наш театр. Пожар разошелся. Свет его, пробивая багровую пелену падающего снега, выхватывает уже из тьмы контуры Заречья. Мне кажется, что недалеко от моста, справа, под насыпью, среди деревьев молоденького бульвара, я вижу несколько крытых грузовиков. Наверное, это машины, посланные за нами. Если бы это так! На душе становится немного легче: схлынет поток — они прорвутся. Тут недалеко, за какой-нибудь час эвакуируем всех своих больных и раненых. Мария Григорьевна — баба толковая, наверное, все уже подготовила. Дубинич, конечно, скотина. Он должен был с первым эшелоном отправить меня с ранеными и ребятами... Нет, может быть, он и скотина, но все-таки не настолько, чтобы совсем забыть о нас... Наверное, и сам мается там, за мостом, с машинами...

— Вера Николаевна! — зовет меня кто-то.

Я оглядываюсь. Мимо в толпе как бы плывут, раскачиваясь, три ломовые подводы. На одной из них гора чемоданов, рюкзаков, баулов, узлов. Все это затянуто брезентовым полотнищем, на котором намалеван розовый куст. Вокруг подвод, держась за грядки, плетутся мужчины, женщины. Их франтоватые одежды как-то не идут к тоскливому выражению измученных лиц. Эти люди знакомы и незнакомы. Где я их видела? Ах, вот что — это же артисты нашего театра. Ну конечно! Вон там, поверх их пожитков, осанистый старик в боярской шапке. Любимец города, комик Лавров. Он сидит

спиной к лошади, прижимая к себе одной рукой картину в золоченой раме, другой — закутанную в шаль маленькую старушку. Взгляд его прикован к зареву. Из глаз текут густые, будто бы глицериновые, будто бы театральные слезы.

— Почему вы стоите, Вера Николаевна? Уходите, уходите сейчас же! Немцы во дворе «Большевички». — Это говорит мне высокий, представительный мужчина, фамилию которого я не могу вспомнить, но знаю, что он играл Вершинина в «Бронепоезде» и что когда-то во время моего дежурства его привезли прямо из театра и я тут же оперировала его по поводу гнойного аппендицита.

Почему я здесь стою? Ах, вот кто мне поможет.

— Голубчик, вы, конечно, помните Дубинича? Ну, такой русский, курчавый. Когда вы у нас лежали, он заведовал хирургическим. Он там, за рекой, застрял у моста с машинами. Найдите его, скажите, пусть пробивается. Сейчас же, немедленно. У меня около шестидесяти лежащих, и еще привезли. Скажите — тут такая каша, я ничего не могу... Отыщете? Скажете?.. Передайте — жду его здесь, как мы с ним условились.

Почему этот актер смотрит на меня так испытующе?

— Вы остаетесь? — спрашивает он, будто не слыша моей просьбы.

— Что же мне делать?

— Наш Винокуров тоже остался. У него книги, уникальная, видите ли, библиотека... Мы до последней минуты не теряли надежды — может, уговорим, одумается. Я стучал ему в дверь ногой, он даже не открыл. — В этих словах яростное

презрение к этому Винокурову, а может быть, увы, и ко мне...

— Поймите, я не могу, не имею права.

Налетевший ветер откинул полу пальто. Актер увидел больничный халат, должно быть, поверил мне, ярость погасла в его глазах. Мясистое его лицо стало тоскливым.

— ...Вы помните Киру Владимировну Ланскую, жену Винокурова? Она погибла. Дежурила с щипцами на крыше театра, сбрасывала зажигалки. Упала фугаска, и взрывной волной сбросило вниз. Даже тело впопыхах не отыскиали... А какой был талант! — Он вдруг схватил меня за руку. — Идемте, идемте с нами. Пусть с больными останутся другие, вам нельзя. Понимаете, вам нельзя оставаться. Пошли! — Он все сильнее тянул меня за руку. — Ваш муж выдавал мне когда-то партбилет. Я вас здесь не могу оставить. Слышите, доктор!

Семен, когда он помянул тебя, я сразу подумала: а как бы ты поступил на моем месте, какой бы дал мне совет? И я угадала. Я вырвала руку и отбежала к гранитному парапету. От моего рывка у актера слетела шапка. Пока он нагибался, на нее кто-то наступил, по ней прошло колесо тележки. Он поднял шапку и, не отряхивая грязный снег, надел.

— Умоляю, найдите Дубинича, передайте ему...

Актер посмотрел на меня тем сожалеюще-понимающим взглядом, каким старые больничные сиделки смотрят на умирающего, и, обгоняя поток беженцев, заторопился вслед за своими. Контуры моста и все Заречье уже начали вырисовываться в кровавой полутьме потрясаемого заревами утра.

Тут я заметила: поток поредел. Люди уже не идут, а бегут. Пожилые солдаты в мятых шинелях, в пилотках, надвинутых на уши, как чепцы, торопят, размахивая флажками и вяло матерясь. Я ждала. Теперь-то уж машины могут прорваться. Машин не было... Мимо с ревом пронесся большой крытый грузовик. Где-то на середине опустевшего моста он остановился. Из-под брезентового шатра торопливо выпрыгивали красноармейцы. Они стали выгружать какие-то ящики, коробки и прилаживать их к стальным фермам. Молодой командир в новеньком и потому пронзительно-белом полушубке возбужденным голосом отдавал команды. Я сразу прикинула — эта огромная машина может поднять человек сорок, всех, кто не в состоянии самостоятельно двигаться. Вот кто нас выручит. Бросилась к командиру. Красноармеец с флажком преградил было мне дорогу, но я оттолкнула его и добежала до старшего лейтенанта.

— Машина, умоляю, мне нужна машина... Тут недалеко, всего пять минут... Ради всего святого, дайте машину, у меня больные и раненые, много раненых...

Занятый своими бойцами, он не слышал, а может быть, делал вид, что не слышит меня.

— Товарищ командир, неужели вы так бессердечны?

Не знаю уж, за кого он меня принял и как понял мою просьбу, но в светлых, совсем мальчишеских глазах было столько тоскливой злости, что мне стало жутко. И будто хлыстом замахнулся: «А иди ты!» Но, должно быть, увидев халат, выбившийся из-под пальто, сдержался и только произнес:

— Уходите прочь. Немедленно! Сейчас моста не будет.

На миг я остановилась в нерешительности. Солнце уже поднялось, и оттого, что выпавший ночью снег точно бы покрыл все ватой и простынями, кругом стало светло, как в операционной. На этой стерильной белизне вырисовывалось над рекой здание речного вокзала, похожее на именинный торт, и отчетливо чернели опустевшие русла схлынувшего человеческого потока, уходящего в Заречье. Само Заречье казалось даже пустынным, лишь у моста люди в военном и в штатском копали какие-то ямы. Несколько крытых грузовиков действительно стояли недалеко от моста. Пусть Дубинич струсил, пусть эти грузовики не наши — есть же там какое-то начальство. Да и шоферы — разве кто-нибудь посмеет отказаться эвакуировать нашу несчастную больницу?

Все это мгновенно пронеслось у меня в голове. Завернув полы пальто, я что есть мочи бросилась на тот берег. И тут услышала бухающие шаги, тяжелое дыхание за спиной.

— Стой! Куда?.. Стой, застрелю... Ошалела?

Это тот красноармеец, который давеча загоразживал мне дорогу. Он запыхался от бега. Он едва может передохнуть, но, передохнув, выплюнул мне в лицо целый ком брани и толкнул меня в спину прикладом:

— Назад... Бегом! Не видишь...

И действительно, солдаты, возившиеся у ящиков и коробок, торопливо лезли в машину. Как, уже? Животный, не позволяющий рассуждать страх понес меня обратно. Я уже выбежала на дамбу, где

простояла всю ночь, когда слышала раскатистый грохот.

Что-то сильно толкнуло, и я упала лицом в грязный, истоптанный снег.

2

Мне кажется, Семен, я тут же вскочила. Но, может быть, это не так. Во всяком случае, когда, поднявшись на ноги, я оглянулась, ядовито-желтое, акрихиновое облако, взметнувшееся в небо, уже рассеивалось, и, будто проявляясь на фотобумаге, все четче проступало кружево прекрасного и гордого нашего моста, на фоне которого, помнишь, по обычаю, снимались на память всем классом выпускники городских школ в день расставания. Это кружево было оборвано, скомкано. Стальные лохмотья опускались почти до самой воды.

Вибрирующий звон в ушах. Тупое покалывание. Кажется, будто отлежала все тело. И эта противная слабость, вяжущая движения, заставляющая дрожать ноги, руки. Ставлю диагноз: контузия, но легкая. Ловлю себя на том, что с опаской смотрю на голубое, как всегда после снегопадов, небо: где они, эти страшные машины моих снов? Небо чисто. В промежутках между орудийным громом слышно даже, как в школьном саду чирикают пичуги. Подташнивает. Еле стою. Кажется, не могу двигаться, а кругом — ни души. Жуткое ощущение безнадежного одиночества перед неведомой опасностью, так мучившее в снах, охватывает меня наяву с новой силой.

Площадь перед школой вспорота, покрыта рябинами воронок. Дыбится скрученный штопором

трамвайный рельс. Голубеет детская коляска, набитая узлами, и возле нее полузасыпанные обрывки человеческих тел. Вдруг бросается в глаза оторванный угол школы. Точно сцена, открылся на втором этаже класс, в котором я когда-то училась. Рядок парт, доска на стене. На ней, кажется, даже что-то написано мелом. А у двери, ведущей в коридор, портрет, — наверное, портрет Тимирязева, висевший тут и в мои времена. Вдруг вспоминается: в этой школе учился наш Домка... Домка, дети, раненые! Они же там, в этих подвалах. Может быть, поступили новые, требуют немедленной помощи...

Да что ж ты стоишь, дура?! Туда, к ним, скорее туда! Сначала, преодолевая вяжущую слабость, я еле двигаю ногами, потом иду, потом бегу. Бегу что есть сил по пустому городу, все время слыша где-то впереди звук своих шагов. Бегу, ничего не видя, пока не перехватывает дыхание... Уф, мочи нет! Прильнула всем телом к чугунному столбу. Штопорами свисают с него оборванные трамвайные провода. Они слегка позванивают. Или это звенит в ушах? Только бы не задохнуться, преодолеть тоскливую безнадежность, лишаящую воли и сил. И тут я соображаю — а ведь недаром там, на мосту, актер говорил: «Вам нельзя оставаться». «Вам» он повторил дважды и как-то особенно подчеркнул. Этого мерзавца Винокурова он тоже не зря упомянул. И взгляд у него был настороженный, испытующий... Семен, ему ведь известно, что с тобой произошло и где ты находишься! И, конечно, он прав. Ты ж понимаешь, мне, именно мне нельзя было оставаться у немцев. Полгорода знает: Трешникова — жена осужденного, сосланного. Если я даже